



Двери *моей*
души

*Моланта
Сержантова*

12+

Иоланта Ариковна Сержантова

Двери моей души

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48807172

SelfPub; 2019

ISBN 978-5-00140-397-5

Аннотация

100 эссе, новелл и рассказов о любви к природе, как о любви к Родине, и о природе человеческой души. Двери души. Они скрипят на петлях времени. Ветер перемен распахивает их, стремясь раскрошить об обстоятельства скал, сколотых теми, кто жил до... До тебя?

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

51

От автора

Здравствуйте, дорогие читатели!

Вы держите в руках уникальное издание. В работе над этой книгой принимали участие дети из разных уголков нашей необъятной

Родины, а также США, Чехии, Франции, Мексики, Греции, Хорватии и Австралии.

Ребята получили возможность познакомиться с книгой до того, как она вышла из печати. Её читали про себя и вслух, в библиотеках и дома, с мамами, бабушками и учителями. На те истории, которые понравились больше всего, создавали рисунки. (Лучшие из них попали в эту книгу!) А после, вымыв кисточки и руки, ребята шли на улицу, в парк, в лес, чтобы найти сюжеты, подобные тем, что описаны в книге. Понаблюдать за действительностью, которая существует вне зависимости от нашего участия.

Но, поверьте, жизни очень хочется, чтобы вы, именно вы были лучшей её частью. Она ждала вас, она вас всё ещё ждёт...

Иоланта Сержантова

Член Союза писателей России

Двери моей души

Когда идёшь по лесу, нередко начинаешь беседовать сам с с

собой. Нет нужды стесняться звуков своего голоса, смущаться мыслей, избегать проявления чувств...

– С некоторых пор я полюбил воробьёв. Этих милых скромных птиц, похожих на пыльных цыплят. Недавно наблюдал, как большая их семейка скрывалась от надменного внимания весеннего сквозняка в ветвях туи. Она ещё не совсем переболела зимой. Плечи её были сутулы. Руки частью опущены, те, что в тени. А частью, в силу укоренившегося положения вещей, уже почти бодры. Со вниманием, присущим всему вечному, туя следила за ходом солнца по бледному ещё небу и описывала носом приличную дугу.

Раскачиваясь в волнах весеннего ветра, что так подробно ощупывал округу, прочно закрепившись на ветках, воробьи просушивали жилеты, курточки и штанишки. Они выглядели словно серые вязаные помпоны. Всё в тон.

Серость элегантна, непритязательна. По причине утончённой изысканности, что в каждом её оттенке. Этот цвет даёт миру показать себя. Рекомендует яркие краски, подчёркивает их. Одним лишь существованием подле. Намёком на то, что всё могло бы быть не так, как теперь. Что всё бывает... было иначе всего-то неделю, день назад, когда небеса, упрятав свои голубые глаза под шлем облаков, дремали в тени нескончаемых сумерек.

Странно, что человек не любит темноты и грусти, но скоро пресыщается многоцветием. Отчего ему нужны переме-

ны, сравнения? Испытывая потребность в них, человек доказывает зыбкость своего положения. На него нельзя опереться ни в добре, ни во зле. Так как он сам, подчас, не уверен, которым чувством из имеющихся будет отражено происходящее вовне...

Намереваясь сбросить с себя крошки воробьёв, туя встряхнула юбками раз, другой. Но нет. Маленькие серые птицы удержались в складках грубой ткани её одежды. Делая затяжки, обламывая хрупкие коготки и ветки. Но держались крепко. Словно за жизнь. Впрочем... Оно так и было, по существу. У птицы, сбитой на землю очередной пощёчиной ветра, не было времени на то, чтобы обсушиться и согреться. Солнце ещё слишком скоро уставало и без сил роняя себя на холодные простыни горизонта, пачкало их...

– Чем?! Чем способно выпачкать солнце?! – услышал я вдруг и остановился от неожиданности. Оказалось, что уже некоторое время топчусь округ лежащего на полянке лося и беседую с ним. Лось мерно жевал, миролюбиво и скептически поглядывая на меня. Временами сочувственно вздыхал. Изредка фыркал. Иногда расслабленно выпячивал ноздри, делаясь похожим на лишённого хобота слона.

Нет, вопрос, адресованный мне, был явно задан не лосем. Он был прекрасным слушателем, но скверным собеседником.

– Так в чём же ты собирался обвинить солнце? – спросили

меня вновь. Тот, кто делал это, был невидим, но явно ждал от меня ответа. И мне пришлось заговорить опять:

– Солнце пачкало простыни горизонта кровью, что сочилась из ран. Оно было расстроено тем, что случилось с землёй за время его недолгого отсутствия. И торопилось исправить всё то, что натворила зима...

– Ну, что ж... – в прозрачном голосе не послышалось разочарования и это обрадовало меня, – неплохо сказано. Я доволен. А теперь уходи, мне нужно побыть одному.

По дороге к дому, на берегу неглубокой лужицы размлевшего на солнце снега, я увидел воробья. Совершенно мокрый, он сидел, опершись на расставленные крылья. Не давая опомниться нам обоим, я зачерпнул его ладонью и понёс в тепло. Ощущая пальцами частое биение крошечного сердца, я понимал, – это не просто небольшая серая птица, которую несусь обогреться. Это весна, что стучится в дверь моей души.

Да будет так

Почему мы так трепетны к ушедшим?

Потому, что они уже не конкуренты. В этой жизни.

Не могут ответить на подлость. Не могут крикнуть: "Ты лжёшь, гад! Не смей!"

И как заступиться, если понимаешь его жизнь с высоты

своей шаткой колокольни.

Мы не можем с уверенностью объяснить причин собственных поступков,

но доискиваясь в побуждениях прочих, уверены – знаем, кто виновен в улыбке сквозь слёзы и рыданиях под хиджабом наволочки.

Гонимые попутным ветром, мчимся по бетонке свободы самовыражения, совершенно забывая о том, что вне кармана торможения порядочности – безнадёжно глупы, во всём.

Но мы можем это выправить. Встать боком к ветру и волне.

Промолчать. Неопределённо пожать плечами. А после выйти в чисто поле и кричать, до крови в горле.

Так будет честно. Да будет так.

Памяти Леонида Алексеевича Филатова

Был грустен он. А юмор в рифме тесной

Ему казался больше, чем уместным.

Хороший парень, нежный человек.

Его я помню. Что ж ты краток, век...

Бывает так, что на рассвете светло, а после – марево об-

лаков надвигает кепку дню на глаза и всё, – до захода солнца грустно, серо. Хочется плакать. И ты сидишь, уставившись в никуда, вспоминаешь. Даже не вспоминаешь, а перемещаешься в те моменты жизни, что всплывают на поверхность памяти, как золотые кружочки жира в бульоне из домашней курицы.

– Мне никто не поверит, что девушка из Воронежа ведёт меня на спектакль театра на Таганке. И не как-нибудь, а по приглашению самого Леонида Филатова! – высокий статный Вовка, театрал, полупрофессиональный актёр и настоящий доктор причитал всю дорогу от метро к театру. Он явно влюблён. В меня – такую яркую, ясную, светлую и весёлую. В жизнь, которая сейчас, которая будет. Потом! И эта, до мурашек, восхитительная неизведанность прекрасного будущего бодрит и обезболивает лучше анальгина. Уколы судьбы и косые взгляды... В юности они ощущаются куда болезненнее, но переносятся намного легче. Я снисходительно и высокомерно поглядываю на Вовку. Огромный, нескладный, чуткий. Потому-то в надменности моей больше игры, чем истины. Не отчуждающей, а беспомощной. Даже наивной. Кроме того, я не настолько хорошо знаю любимый город и нуждаюсь в провожатом...

О, боги! Мы были непростительно молоды, верили в безразмерность жизни и ещё не знали, что Вовка скоро погибнет, а потом уйдёт и Леонид Алексеевич... Насовсем.

А за два месяца до этого дня...

Один из домов культуры провинциального Воронежа был полон. В предвкушении выхода на сцену автора повести в стихах про Федота-Стрельца, зрители почтительно и взволнованно переговаривались. Услышать насыщенную авторскими афоризмами сказку в стихах из уст самого Леонида Филатова хотел весь город. Но не мог, ибо зал был не настолько велик.

И вот, на эшафот очередной сцены нарочито уверенными шагами вышел он. Минуя субъективное преувеличение камер, Филатов оказался сублильным, слегка сутулым. Немного более обычным, чем казался с экрана... Не позволив разглядывать себя дольше, Леонид ожидаемо неожиданно, с хрипотцой и мягкостью начал: «Верьте аль не верьте...»

И замер зал. В предложенных ситуациях смеялся, в приличных моментах замирал и грустил. После оваций на многозначительный финал «А у нас спокон веков нет суда на дураков!..», Филатов для всех был высоким, красивым, трогательным, умным и справедливым. Как в кино.

По рядам к сцене передавали записки с вопросами, дети с букетами взбирались к весёлому дяде сами. Выпачкав пыльцой осенних букетов его светлый костюм, в смущении убежали прочь.

Когда моя записочка* дошла до Филатова, он прочёл её вслух, пощекотав чёлку бровями, сказал: «Мудрёно..» и сму-

щённо улыбнулся.

В завершении концерта, обращаясь ко всем, Леонид Алексеевич объявил, что тех, кто приедет в Москву на спектакль «Владимир Высоцкий», он проведёт. С большим удовольствием.

– Вы узнавайте, когда он будет, приезжайте...

Ну, что вы думаете. Пока почтальон не принёс срочную телеграмму от Вовки, в которой сообщалось о дне спектакля, Николай Губенко, руководивший в то время Театром на Таганке, был вынужден отвечать на мои ежедневные междугородные звонки. Телефон длинно и нудно сообщал о расстоянии меж абонентами долгими раскатистыми сигналами:

– Здравствуйте! Это опять я! – вежливо и радостно заявляла я.

Если Леонид Алексеевич был в театре, то Губенко громко звал его к телефону, если нет, то переносил бремя общения со мной самостоятельно.

И вот... день спектакля. Мы с Вовкой подошли к билетёру и сообщили, что приглашены. Вовка недоверчиво поглядывал на меня, а я просто сияла. Билетёр ласково улыбнулась и позвала «Лёничку».

Филатов шёл среди толпы, что шевелилась по-муравьиному, на сияние моих глаз. Если бы не это, то сосредоточенный перед грядущим действием спектакля, едва бы понял кто и зачем его подозвал. Удивлённо поднял взгляд на Вовку.

– Муж?

– Да нет, что вы! Это мой друг, Вовка! Ничего?

– Конечно, ничего, улыбнулся Леонид Алексеевич, – пойдёмте. И, уже обращаясь к билетёрше, – сообщил ей то, что уже и так было ясно, – это со мной.

Женщина ласково кивнула в ответ, и мы... Можно было бы написать, что мы пошли, но нет. Как можно ходить по театру?! В театре можно парить, перемещаться, перевоплощаться. На худой конец – играть роль! Но банально переставлять одну ногу за другой?! Ну, уж – нет.

Не знаю, каким путём шёл Вовка, но лично я моталась за Филатовым, как надувной шарик на верёвочке. Не чувствуя себя, растворялась в атмосфере закулисья и жадно вдыхала образы, выражения лиц, реквизит, стены, низкие потолки коридора, ведущего под сценой...

Леонид Алексеевич усадил нас на места. Прежде, чем он ушёл, я спросила:

– А кто-нибудь ещё воспользовался приглашением прийти?

– Только вы! – ответил он, задорно усмехнувшись.

Зрительный зал пучило. Сидели на перилах, на полу, на приставных стульях и на коленях друг у друга. Впервые, после разрешения возобновить постановку, из Германии приехал создатель спектакля, Юрий Любимов. Актёры выглядели из-за кулис, чтобы убедиться: действительно ли, на своём месте, рядом с микрофоном сидит ОН. Юрий Петрович

хмурился, но сдерживал эмоции. Губенко с достоинством обходил владения, выказывая всю меру уважения к предшественнику и к себе самому. Артистичность, с которой ему удавалось избежать неловкости, мужеством, с которым он делал это, можно было только восхищаться.

Руководство обоснованно медлило с началом. То, что происходило в зале, отчасти мешало настроиться на предстоящее событие. Но, с другой стороны, оно утверждало его жизненность, правдивость и ту болезненную остроту, без которой не происходит ничего честного, верного, истинного.

Я не стану пересказывать сам спектакль. Лишь ощущения: много боли, порядочная доля разочарования. Чёткое понимание того, что жизнь, пересказанная другими, слишком далека от реальности.

– Подражание – это плохо, бормотала я, выходя из зала.

– Ты о чём?! – удивлённо спросил Вовка. – Тебе понравилось? Правда же?

– Нет, Вовка. Увы. Мне не понравилось.

Не знаю, слышал ли мои слова Леонид Алексеевич. Надеюсь, что нет. Обижать его мне не хотелось.

На следующий день я пришла в театр без сопровождения. Поприветствовала Губенко: «Это я надоедала Вам по телефону!» Поздоровалась с Золотухиным: «Вы так похожи на моего папу...!» Тот рассмеялся и угостил яблоком. Почти

одновременно со мной в театр зашёл мужчина в полушубке и оставил их целую коробку.

– Привет с Алтая! – зычно произнёс мужчина и вышел. К гостинцам с Родины Золотухину в театре давно привыкли.

Леонид Алексеевич скоро спустился ко мне. Я вручила ему свои рукописи, о чём договорились накануне. Обменялись домашними телефонами и назначили день следующей встречи.

А потом... Редкие звонки по делу или приличному поводу. Поздравления. После первых неприятностей со здоровьем, дала контакты доктора, который мог улучшить состояние... Жизнь катилась под откос.

Некоторое время спустя мне позвонили и сообщили о том, что погиб Вовка. Я не плакала. Совсем. Но всю дорогу до Москвы вспоминала, как он спрашивал меня после спектакля: «Тебе понравилось? Правда же?» И в темноте плацкартного вагона, который трясло в такт моей нервной дрожи, я шептала: «Как мне может это понравиться? Как?!»

* – Смешна нам рифма Бог-порог,

Всегда спешит соединиться,

Не зная, есть ли смысл и прок:

Грустить-любить и торопиться.

А здесь, друзья, я знаю, что

За слово он к тому добавит,

Но не держу и зла за то.

Так горсть орехов смысл оставит
Под толстой шкуркою своей.
Кого угодно успокоит!
Но трудный вкус его милей,
Того, что ничего не стоит
4 сентября 1988 года

Наваждение

Природа плачет. Мы её при родах.

Уткнувши долу нос, фарватер тающих сугробов в стрем-
леньи избежать, – лавируем.

Манкируем рыданием, не видим первых всходов.

Иглою стройных, бурых, окровавленных стеблей испорче-
ны поверхности покатых плеч у берега реки, и чистые, умы-
тые пороги. ухоженных нехоженных дорог.

Нам недосуг утешить или внять. Обнять за плечи или
успокоить. Мы, в том нуждаясь, малом, постоянно, не делим-
ся с иными тем теплом. И «на потом» его в столь дальний
угол прячем, что забываем, где оно лежит.

А время? – тоже, вряд ли ублажит, своим течением смы-
вая те надежды, которых много. Меньше, негли¹ прежде, бы-
вало.

Нам ли то не знать! Но указать себе самим на это упущен-
ье?! Как загодя обидчикам прощенье. Как след солёный от

¹ нежели

напрасных слёз и щёк обветренных. Которых не было ещё. Но будут. Непременно.

Тщательно и тщетно.

А мы? Роняя ежечасно букеты скомканных минут, что нашу жизнь, шутя крадут, срываем новые бутоны, пустоцветы. И раздавая пошлые² советы, не следуем им сами. Не стесняюсь. Без вразумлений здравых. Не меняюсь, переменяем, чего коснулись. Косно или так. Себя бежим. Не вдруг, не постепенно, что лучшее вокруг осознаём. Да поздно.

Чаша вновь полна. А удержать её? Уж силы не достанет.

Природа плачет. Мы её при родах. Тем упоение никто не подменял, блаженством тайинства ненового рожденья.

Заметим, право? Так ли? Наваждение...

ТАКТИчно

– Три четверти? Да?

– Раз-два-три... раз-два-три... Да! Похоже!

– Всегда оно так-то, в марте...

– В начале – так. В такт.

Переваливаясь с боку на бок, как гусыня, роняя прозрачные капли то там, то тут идёт по лукавым сугробам Март. Перья его, окутанные плесенью тумана, неряшливо взъерошены. Но от того ли, что почти незаметны, не требуют отго-

² проверенные опытом, из прошлого

доска жалости или разочарования. Он основателен, важен, суров. Ибо – Март³. Идёт неторопливо, шлёпая гусиными лапами молодых кленовых листьев. Тех, что так чисто отмыла осень и отточила зима. Полупрозрачные оттиски цвета топлёного молока, что идут, почти опережая его, смущают воинственный облик. Вносят перчинку трогательности и ноту незащитности.

Трепещут камертоном капли, отбивают такт тем скорее, чем невесомее делается абажур факела солнца.

И вот... уже... почти... Сугробы мрачнеют. Огрызенные ими травы обнаруживаются на виду, прямо посреди дороги. Кажутся невредимыми и готовы не оставить ни пяди земли подле. Их утомительное летнее буйство позабыто и прощено. Так давно и столь надолго, покуда навязчивая докучливость его не возбудит обратного.

Бежав приличий, сокол присел близ окна. Поймал янтарным оком медовую искру солнца, устроил её теснее к прицелу зрачка. Оправив плиссированную манишку, вежливо кивнул. Март неторопливо прикрыл глаза ему в ответ. Согласие воцарилось в том мире, где человек всегда немного не у дел, часто лишний. Со всем сомнительным величием своим и несомненным превосходством вершить судьбы других, не умея верно распорядиться своею.

– Так ли? – вопрошает капель.

³ назван по имени бога войны Марс

– Так... – вздыхает горестно Март, и сбивается, манкируя тактом. Но быстро справляется с дыханием и продолжает вальсировать. Привычно не стесняясь своей неловкости, кой⁴ прилична с непривычки, что приключается обыкновенно весной.

Подстать⁵

Мочало игл сосновых мокнет под ногами.

Февраль метёт своим неподшитым подолом по размазне из снега и прошлогоднего сора. Тот сбивается в стаи и путешествует по ручьям и рекам талой воды, сотворённой солнцем. Хлопья снежного сока сомнительны. Но в местах, где он прозрачен, глядеть на него так приятно, что лёгкая тень улыбки взбирается на лицо котёнком и водружается там. До первых затяжных осенних дождей.

До них хотя и близко, но, кажется-то, что ещё далеко, вот и – пусть его, дремлет мирно, этот мягкий, лёгкий, весенний. Как первый тёплый ветерок с ароматом первой осенней ягоды.

Ручьи и реки собираются в озёра. Неизбежный об эту пору северный ветер, порождение злых беспощадных штормов, сдёргивает остатки несвежих покровов с накрахмаленной морозами земли... И замирает.

⁴ Который(-ая)

⁵ что идёт к чему

Как дева спяща, земля смущена своею внезапной наготы. Она жаждет тепла и нежной ласки. Не мимолётной, а той, вне огласки и горячности. Глубокой, постепенной, постоянной. Безутешной и покаянной, за всё вперёд.

Благоволению искать ли прок⁶...

Что проку⁷?

А у дороги, перед нею, в виду давно пришед весны, сидит в облезлом, в ключья, зипуне, Февраль. Совсем не стар, горим так явно. Скоро позабыт. Нужды в нём нет. Не нужен! Подстать самой зиме. Зиме подстать.

Рано

– Стой! Не надо!

– Ты чего?

– Не трогай его, не дави! Он не виноват, что родился жуком!

– Ну, а что он тут ...ходит?

– Ничего. Пусть.

– Ну выкинь его за окошко, что ли...

– Там он замёрзнет! Весна скоро. Потеплеет и выпущу!

Жук понял, что опасность миновала, расслабился и шмыгнув носом, дёрнул левым усом.

– Ишь, какой... Понимает.

⁶ будущее

⁷ что толку

– А ты думал!

Жук держался руками за оконное стекло и смотрел, как расхворавшаяся к весне метель кашляет и ходит из угла в угол. Она знала, что давно пора уходить, но не было сил собрать всё, что разбросала за зиму. Да и ветер шалил расслабленно, не желал помогать, но лишь мешал. Запутывал бахрому её длинной шали округ потерявших холодную хрупкость ветвей и тянул, – то в одну сторону, то в другую. Как злой ребёнок. Но тем было не больно. Почти.

Понемногу, постепенно, день ото дня кожа щёк деревьев обретала упругость и здоровый румянец. Они шурились на солнце и, сцепив зубы почек, из последних сил удерживали острые зелёные язычки в приличных для этой поры пределах. И когда, казалось, терпению приходил конец, некто шептал им на ушко:

– Рано... Рано. Рано!

Жуку также хотелось выйти и пошалить, но он понимал, что ещё не время. Ранняя весна капризна и по причине ветрености своей, ранит сильнее, чем это может выдержать иной. Нужно быть готовым для встречи с нею. Научиться прощать, уметь любить, сквозь пальцы глядеть на обиды.

– Не каждый сумеет так. Так сумеет не каждый. Так не каждый сумеет. – Твердил жук. Он всё ещё стоял у окна и продолжал наблюдать за метелью. Меняя слова местами, пы-

талась нащупать их смысл. Как землю, на которую ему предстояло ступить этой весной.

С порога зимы

Куриные лапы дубов с раннего утра царапали по небу. Копошились, хлопали по тощим бокам крыльями веток. Исккали то, что раскачало бы их скуку, утолило озноб. Разогнало бы негустую прозрачную кровь. А уж после... Можно расправить крылья и, – куда там изумрудам, малахиту да нефриту с бериллом до нагромождения живых кристаллов всех оттенков зелёного. В нехитром сиянии умудрённых солнечных лучей, переливы граней юности, как дар, которого не унять, пока зрелость не урезонит. Но и остепенившись, изразцы листов, словно сокровище, выбрать из коего лучшее не дано.

Предвестником весенней суеты, в награду за неутомимость надежды, ветер вышел вперёд, и оправданной дерзостью своей, копнул глубже, чем иные могли.

И на дне серого облака блеснуло родником солнце. Сперва неясно, лишь более гладким, чем всё округ, пятном. Но упорствовал ветер⁸. И глубокие проникновения его возымели ответ. Откололся последний рыхлый ломоть и излился поток, и заполнил небесную чашу. До пологих закатных краёв.

⁸ ветер

Но дубам отступить не по силам. И поникли, размякли от солнца тепла. Клонит в сон. Впереди то биение сердца, от которого прочих – в умеренный жар. Кто в себе не уверен, то брошенным скажется⁹ в осень. Только то – впереди.

И пока, – чуть истёртое ветками небо. Белый круг. Это солнце. Оно, говорят, будет с нами, пока не устанет. А устанем ли мы? Это – вряд¹⁰.

Жертвы города Но

Ясным воскресным утром мы с сыном повели собаку на прогулку. Нам нравилось ходить втроём. После переезда из леса в город, так не хватало длительных совместных путешествий. Веселья, подстёгнутого ожогом крапивы. Споров, расслабленных утомлением длительных пеших переходов, внезапных откровений на виду зардевшихся земляничных полян. Редких озарений, когда мы оба, с отстранённым упорством доставали блокноты и что-то записывали, пряча друг от друга. Внося свою лепту в общие развлечения, собака обращала наше внимание на пасущихся невдалеке коз и оленей, на кабанов, дремлющих в двух шагах от тропинки, на выводок перепёлок и свернувшуюся в клубок среди корней мудрого дуба лисицу.

Город не давал столько возможностей. Поэтому, мы про-

⁹ обнаруживаться

¹⁰ сомнительно

сто – болтались по улицам, и вспоминали, как было хорошо там, в отдалении от его фальшивых созвездий и надуманных радостей.

– А помнишь?..– с осторожно нарастающим воодушевлением начинала я.

– Помню, – вздыхал сын в ответ, разглядывая пыльные черепки тротуара под ногами и морщась от взорвавшего пространство выхлопа автомобиля неподалёку.

Мы молча шли дальше, и сын в очередной раз интересовался:

– А звери не заходят в города, да?

– Нет. Зачем им это...– подтверждала я.

– Да уж, незачем, – соглашался сын.

Но в то утро звери зашли-таки в город. Не по своей воле. На пустырь неподалёку от дома, где мы обычно гуляли с собакой, передвижной зоопарк свёз свои кибитки и составил их на манер фургонов Студебекера, первых переселенцев Америки. В воздухе вкусно запахло навозом и сеном. Жаркий выдох львиного рыка, шарканье разношенных ступней медведя по тесной клетке, взмахи подрезанных крыльев воронов...

Нашу троицу потянуло на все эти звуки и запахи, но касир преградила дорогу:

– С собаками нельзя!

– Но мы вместе, семья! – пытались уговорить служащую мы, – наша собака знает, как себя вести с дикими животными!

– Но неизвестно, как животные отреагируют на собаку, – резонно возразила женщина и добавила, – отведите собаку домой и тогда – милости просим. Мы открыты допоздна.

Немного расстроенные, мы отвели собаку домой и, волнуясь, поспешили назад. Измотанные обществом людей, нам так хотелось вновь увидеть милые лица животных... Но мы не были готовы испытать на себе тот ужас и разочарование, что затаились в застенках этого увеселительного заведения.

Кроткий карий взгляд из-под ровно постриженной чёлки маштака¹¹ – единственное, что не вызывало отторжения и испуга. Добротное, верблюжьего цвета седло было натёрто ёрзаньем многочисленных детских штанишек. Малышей сажали в седло, дети постарше стеснялись взобраться на лошадку и позировали, держась за густую косу гривы, со вплетёнными в неё неживыми цветами. Не вполне трезвый уборщик, даже не потрудившись сдёрнуть с себя чёрный халат, делал моментальные снимки «На память». Получая от родителей плату, громко сообщал о том, что «все деньги пойдут на питание для обитателей зоопарка».

Обитатели воспринимали столь неприкрытое враньё с привычным равнодушием. Они мучились воспоминаниями

¹¹ низкорослая мелкая лошадка

о прошлой вольной жизни или скорым избавлением от неё. Никаких радостей в настоящем у них не было. Двенадцать квадратных метров клетки, треть ведра овсянки на день, отхожее место – тут же, в углу, прямо под носом... Даже мухи, вкусные весёлые сочные мухи не представляли интереса, а лишь вызывали зависть. Ибо были вольны лететь, куда им вздумается. Минуя прутья, покрытые войлоком из грязи и шерсти.

– Детка, отойди подальше, тут плохо пахнет, – увещевала внука дама с перманентом на всю голову.

– Поглядела бы я, как пахло бы от вас, в такой же клетке, – не смогла сдержать возмущения я.

– Так я же не животное! – гордо сообщила женщина.

– Вы хуже, намного хуже... – вздохнула я и предложила сыну, – Давай уйдём отсюда, а? Сил нет смотреть на этот кошмар.

– Давай. – быстро согласился он.

Стараясь не глядеть никому из поневоле пленённых, мы малодушно, почти бегом направились вон, но почти у самого выхода, в загоне, разделённом надвое, обнаружили странное соседство козы и волка. Покоробившийся настил пола образовал уклон так, что волк удерживал равновесие на единственном сухом участке, а коза оказалась по колено в сточной гуще. Её суставы разъело почти до костей. Боком навалившись на стенку клетки, она держалась из последних сил. Волк, почуяв наше приближение, взвыл и, взглянув безутеш-

но, пересохшим носом указал на козу.

– Мама, помоги ей, – попросил сын, сильно нахмутив брови, удерживая слёзы. – Ты же можешь! Видишь, волк тебя просит. И я. Я тоже прошу.

– Хорошо, сыночек, только, давай-ка, ты отправишься домой, а я тут сама. При тебе мне будет неудобно.

Что и как я говорила служащим зоопарка, описывать не стану. Если дело идёт не о себе самой, я могу быть убедительной.

Вечером того же дня, сын, собака и я ещё издали заметили на пригорке, вне огороженной фургонами поляны, привязанную к колышку козу. Она методично срывала букеты полевых цветов. Сперва нюхала их, вдыхая полузабытый аромат, а потом аккуратно обкусывала, не вырывая корешки из земли. Её израненные коленки подсыхали.

Коза сразу узнала нас и перестала есть. Собака вильнула всем телом, а подойдя ближе, боднула лбом козу промеж рогов и лизнула в нос. Коза с набитым ртом проворковала что-то приветственное и, смущаясь покосилась на луг.

– Ой, прости! Кушай-кушай. Мы сейчас.

Добежав до ближайшей торговки овощами, купили вкусной домашней моркови. Вымыли её, разрезали на полосочки и вернулись к козе. Пока она наслаждалась угощением, из зоопарка к нам вышел фотограф.

– А вы знаете, они её собирались съесть сегодня. – сообщил он нам, намекая на товарищей.

– Ну и зачем вы это говорите? При ней... – поинтересовалась я.

– Да, так, чтобы вы знали. Простите. Я пойду?

– Идите, – разрешила я.

Мы навещали козу каждый день. Приносили угощение и ей, и другим обитателям зоопарка. Довольно скоро заметили, что медведь, волк, лев и другие перестали смотреть сквозь нас. Они замедляли свой вынужденный моцион по клетке, останавливались и взглядом проникали в самую душу. Обнаруживая сострадание, вздыхали горестно и возвращались к своей ходьбе туда-сюда. Но уже не так яростно, не так безутешно, но деликатнее, изысканнее. Так ходят звери у себя дома, на воле. Казалось, от наших визитов их существование стало чуточку осмысленнее. Ибо появилась надежда на то, что они – последняя жертва в этой звериной забаве, затеянной человеком тысячи лет назад в городе Но¹².

– Мама, а если люди перестанут ходить в зоопарк, животных отпустят в лес? – спросил сын.

– Нет, сыночек. Не отпустят. Но по крайней мере, не будет смысла запираить в клетки следующих.

Пони

¹² Но-Аммон (Фивы) – город в Древней Греции

– Ну, что ты боишься, это же маленькая лошадка. Она тебя не укусит.

– Не буду!

– Что ж ты такая упрямая! Ведь подрастёшь и будешь жалеть, что не покаталась. А взрослым не разрешают кататься на пони.

– Ну и славно...

Время от времени я вспоминаю этот наш спор с матерью. Её так хотелось организовать мне, своей дочери, прекрасное детское воспоминание. И она не останавливалась ни перед чем. Безразмерные горячие, вредные! – сосиски на виду у огромного пруда с лебедями. Взбитый в пену, слишком припорный! – сахарный сироп на палочке из-под мороженого, ну и катание в повозке. Но всё вышеперечисленное, нужно было не мне, а маме. Чтобы выполнить её программу правильно организованного выходного дня. Мне-то больше хотелось в музей.

При виде ограды зоопарка, я ощущала испуг. Озноб заточения овладевал мной и, заходя вглубь парка, я часто обращивалась, чтобы убедиться, – нас не запрут в пределах этой территории так же, как заперли виновных в своём очаровании белых медведей, милых слонов с розовым волосатым пятчком, обосновавшимся на кончике хобота, и ту самую пони, которая была обречена бегать по кругу, как каторжанин.

Сахарная вата казалась мне несъедобным комком хлопка на палочке. А пони... Пони определённо был чересчур хрупким, чтобы возить день – деньской маленьких бессердечных оболтусов, которым нет дела до того, – устала эта маленькая лошадка или нет.

Пони натужно и скромно наклонял голову вперёд, почти вылезая из хомута. Шершавая кожа меж его лопаток натягивалась и, оставляя ряд смазанных следов на песчаной дорожке, лошадка везла воз очередной порции человеческих жеребят по малому и большому кругу.

– Посмотри, какая... – предлагала мне мать, указывая на очередного узника зоопарка.

А я тянула её за руку:

– Пойдём!

– Куда ты так спешишь? Так ты ничего не запомнишь, – увещевала меня она. Но шла, всё же, за мной следом, припомнив о том, что пришла сюда не по своей воле, а «для организации разумного досуга дочери».

Подолгу я могла находится лишь подле приматов. Грузная, как все мамыши того времени, орангутан с бесстыдно отвисшим бюстом, сидела, облокотившись на свёрнутые кренделем руки, нос к носу к зевакам... Изредка щурясь в ответ своим невесёлым мыслям, она почёсывала наманикюренным пальцем обширную ноздрю. Исследовав её, брезгливо обтирала ладонь подолом мехового жакета, и вновь принималась

смотреть сквозь обступившую её толпу.

Кто мы были для неё? Серой, дурно пахнущей массой. Неинтересной и безликой, не стоящей внимания. Ей было о чём погоревать и без нас.

Единственное моё развлечение в этом страшном месте состояло в том, чтобы, обождав, пока соберётся побольше народу, громко и внятно сообщить о том, что:

– ... неизвестно – кто по ту сторону, кто по эту...

Каждый раз зрители испуганно оборачивались на меня и быстро расходились, а взбешённая мать дёргала за руку и уводила прочь.

Почти на выходе из зоопарка, я тихо просила её:

– Может, по сосисочке? Если у тебя есть деньги...

– Ты же уже ела! – возмущалась она и добавляла – Ну, ни о чём не можешь думать, кроме еды!

О... как же ошибалась она... Засыпая на своей раскладушке, запертой меж стеной и задней стенкой платяного шкафа, я воображала, как срываю замки с решёток, выпускаю обитателей клеток и тихо иду по планете, развожу её детей по домам. Возвращая мамам их малышек, мужьям – жён. Воссоединяю разрушенные семьи. Утираю слёзы, что катятся по их небритым щекам. А сама иду... иду... и возвращаюсь, наконец, к своей маме, которая тоже – сидит и плачет. Ибо никак не может понять, отчего я не хочу забираться в повозку, которую тянет маленький пони...

Ты даже не представляешь...

Дети беззащитны перед любовью матери. И от её нелюбви они не в состоянии уберечься тоже. Доверчиво тянутся, в поисках родного тепла, в надежде уловить умиротворяющее биение её души. А слышат: «Марш из кухни! Не лезь к маме, видишь, она устала! Иди, порисуй! Поиграй один...» Или ещё ... «интереснее»: «Ты – копия своего отца! Такой же... подлец!»

И мальчишка семенит, спотыкаясь, за намеренно ускоряющей шаг матерью. Задыхается от рыданий. Не понимает, в чём виноват. И хочет только одного, чтобы мамочка стала опять той, нежной и доброй, которую он ещё помнит. Вроде бы... Кажется, что это была она. Ну, а как иначе?..

Дети очень доверчивы. Выбирая себе родителей, они наверняка надеются не ошибиться. Но иногда ошибаются, всё же. Часто. Чаше, чем это позволительно.

– Мама, а можно...

– Можно!

– Но ты же даже не знаешь, о чём я хочу попросить!!!

– Я уверена, что это не может быть чем-то нехорошим.

– Тебе всё равно, что я сделаю?!

– Нет, я тебе доверяю.

– Так доверяешь ли ты ему или тебе, мать, действительно нет дела до того, чем живёт твой малыш?

– Когда-то казалось, что доверяю.

– А теперь?

– Я не знаю...

– О чём ты плачешь? Иди и спроси, чего он хотел!

– Не могу. Он уже вырос. Вряд ли захочет спросить. Теперь...

– Ма, ты меня не понимаешь, совсем.

– Я хочу! Быть может, это не всегда получается, но...

– Чему ты улыбаешься

– Я счастлива.

– Отчего же?

– Ты говоришь со мной. Ты со мной говоришь и мне этого довольно!

– Но мне-то этого мало. Мне нужно, чтобы ты меня понимала!

– Прости. Я пытаюсь...

Не знаю, что хуже, – не потрудиться понять, или от бездны глупости материнской любви, быть не в состоянии сделать это. Ты обнимаешь ребёнка, прислушиваешься к биению его сердца, вдыхаешь запах... И – всё! Больше не надо ничего.

А все его разговоры, рассуждения, сомнения... Они пугают. Ты их гонишь прочь и стараешься забыть. Сразу же. Чтобы не омрачали они твоего материнства.

Женщина, что тянула малыша за собой останавливается вдруг, резко дёргает за руку и грубо приказывает: «Прекращай реветь!»

Мальчик замирает в начале очередного всхлипа и вопросительно смотрит на мать. Его щёчки красны. Разводы слёз скоро сохнут на сквозняке непогоды. Он весь во власти матери и готов покориться любому её решению.

Та наклоняется к сыну. Утирает щёки мягкой тёплой ладонью. Потом прижимает его лицо к своему пальто и шепчет: «Прости, сынок. Какая я у тебя дура...»

Ткань одежды довольно холодна, но тепла материнского «прости» хватает на то, чтобы эта малость не испортила мгновения, в котором мать и дитя вновь оказались одним целым.

– Мама, ты меня любишь?

– Ты даже не представляешь, КАК...

Раннее утро середины весны...

Небо по-обыкновенно торопилось. И, прикрывая полупрозрачным пергаментом утра рассвет, оставило след пальца – мучной отпечаток полуночной мУки, – тень луны. Так неаккуратно. Свет солнца, в отместку, прожёт в небе яркую жёлтую дыру. И жар неторопливо, но настойчиво принял-

ся наполнять бычий пузырь дня. Спустя час, утомлённые с непривычки щёки его обвисли дрябло, частью занавесили местность, и та получила ненадолго желанный отдых. А после, с новой силой, не занимая себя подбором цветов, принялось выжигать не следы, но само воспоминание о днях, стиснутых ненастьем, холодом и беспричинной тоской.

И вальяжная, седая от инея щетина травы скоро сделалась подвижной, влажной. Парафин сугробов подле посечённых сажей свечей берёз, растаял. Сочный пирог земли был густо уставлен ими. Снег, однобоко вытопленный накануне, теперь и вовсе исчез. Но никому не было до него дела. Никто не лил об нём слёз. Кроме всё тех же берёз. Ветки, обломанные напоследок зимними ветрами, – саднили, кровоточили, чем манили к себе нерасторопных мух и повеселевших птиц.

Воды округ было более, чем вдоволь, но всем хотелось чего-то чистого, свежего, бесконечно хрустального... Каким бывает раннее утро середины весны.

Всего-то год...

Март прихворнул. Зима задержалась присмотреть за братишкой. Поила его согретой солнцем чайной водой луж с пенкой снега. Звала дятла – простучать слабую грудку, проверить, всё ли ладно. Не ждать ли худшего. Ставила компрессы, оборачивая нежные пятки брата пергаментом сухих кленовых листьев. Укутывала шарфом горчичного цвета из

сухой травы. Отпаивала калиновой водой. Светила в воспалённое горло узким солнечным лучом...

Когда Март стал капризничать, и принялся топить обложенным языком уцелевшие в тени сосульки, зима поняла, что дело сделано. Ребёнок идёт на поправку, и ей пора уходить.

Перед расставанием зима как следует накрахмалила и отгладила землю. Для порядка. Стало видно, – где что брошено, оставлено, спрятано или позабыто.

Следы зверей забрал с собой стаявший снег, и только ручьи троп, примятых перезимовавшей жизнью, струились меж верстовых столбов осин.

И присела на дорожку зима. На край широкого пня. С одной стороны, где примёрз вельвет мха – она. А с другой, – натёртые мельничкой марта травинки, жвачка мелких зелёных листьев и родимые пятна подсыхающей на солнце плесени.

– Ну, что? Пошла я. – поднимаясь сказала зима.

– Иди... – грустно ответил Март. Обнял сестрёнку, чмокнул в щёку. – Увидимся?

– А как же! Совсем скоро. Всего-то... год...

Зима ушла. А Март стоял и по щекам его текли последние студёные слёзы. Стесняясь, он стирал их свежей салфеткой ветра. Но напрасно. Они всё текли и текли, сбиваясь в ручьи

и реки, смывая воспоминания, как надежды.

Как слова, произнесённые во след. Впустую. Как пепел ко-
стра, сорванный с места сквозняком приоткрывшейся двери.
Ведущей в никуда и отворённой неведомо кем.

Прелесть бытия...

Птичья кормушка из собачьей миски на подоконнике при-
влекла мышей. Одна, размером чуть больше грецкого ореха,
даже поселилась под нею. В миске вкушала, сысподу¹³ спа-
ла и ссыпала горсти мелкого мышинового мусора. Она была
довольно неаккуратна. Отдыхала и прогуливалась в одной
и той же меховой курточке с ржавым подпалом. Из-под по-
лы, как исподнее, выглядывал странный тонкий безволосых
хвост. На вид – чужой ей, взятый взаймы ненадолго. Но тас-
кавшийся следом, куда бы она не шла. Вторая мышь, боль-
ше первой в три раза, с чёрной вздыбленной припудренной
пылью шерстью, проживала в толще стены дома. Но столо-
валась также – у птиц.

Маленькая мышь казалась пернатым ровней, они не пуга-
лись ея соседства. Вежливо толкались на весёлом току кру-
пы. Оступаясь, заваливались на бок, давали друг дружке ме-
сто, чтобы встать на ноги. В стыдь¹⁴ нарочито толпились, вы-
бивая пар из шерсти и перьев. Набивались доверху, выки-

¹³ под

¹⁴ стужа

пали крылато, но держались совместно супротив временной стихии.

Когда морозы теряли хватку, хулиганили и пугали друг друга мнимыми опасностями, подавая напрасный посвист тревоги. В него мало кто верил. Дятел, слизывая липким языком крупу, задевал розовый кулачок мышонка. Шило клюва поползняя дробно и часто сновало округ куцей курточ-ки мыша, утыкало его округ, но не задевало и волоска.

Набегам же смуглой бОльшей касты¹⁵ не были рады. Она вносила в сообщество хаос, подобный состоянью планеты нашей до мироздания. Малая мышь спешила прочь, колодой игральных карт взлетали птицы... И сознание малодушно и досадливо напоминало о спящих об эту пору ужах, для которых гнус¹⁶ – хлеб насущный.

Коль скоро гребень солнечных лучей принялся за уборку, что случается обыкновенно меж зимой и летом, миску спрятали до осени в укромный уголок сеней. Птицы поспешили догадаться о том, что уже пора, и взялись за устройство гнёзд в тени туи. А мышь ещё долго приходила на место, где было её зимнее жилище. Она семенила промеж ненарочно просыпанных зёрен на собранный ею сор, и выбирала, – что годится в пищу, а что уже давно съедено.

В виду сей, вовсе ненапрасной суеты, вздумалось нам про

¹⁵ мышь

¹⁶ мышь

то, что тщетны ожидания рассудка ...от человека. Ибо – как мыша, ищет сытный стол в виду отхожего места. Страшится потерять его из виду. И роняет себя, погружаясь во вчерашнее. Оно – то, без чего нет завтра. Но не то, что теперь. Коего не ценишь, не глядишь, замирая от прелести, что вне оков и соблазнов зла, но от трепета и осторожности бытия. Находить себя в котором – наслаждение...

– Так ли?

– Кажется, что так...

Краски дня

Утро макнуло кисточку в ведро горизонта. Несколько покрутило её там. После, давая стечь лишнему, отёрло о шершавый, обветренный коркой леса край.

И лёгкими мазками, негусто, постепенно, начиная с самого низу принялось закрашивать восток. Весь его задник, сцену, на которой с минуты на минуту намеревалась воцариться знакомая звезда.

Когда дело было почти совершенно и совершено, ветер подул легонько, чтобы быстрее заветрился цвет. Он загустел, набух, сделался выпуклым и солнце, словно только этого и ожидало, выдвинулось. Щедро, не мешкая, сразу – по пояс. И птичий хор, прилично притихший в предвкушении явления рыжеволосой Примадонны, вступил. Звук – воцарился.

Сразу и везде. Нежно, сверкая гранями алмаза, растворённого в кубке утра ...

День подхватил звенящую ноту рассвета. Чуть ниже, в терцию. И довёл свою партию до конца...

А закат? Он не был столь скупулёзен. Размазав полосы по зернистой дерюге ... малиновую, серую, голубую, бледно-розовую, вывесил напоказ, нарочито, будто застиранную тельняшку. А после оттолкнул плечом ветер, отвернулся, как обиделся непонятно на что и ушёл. Быть может, даже поплакал втихаря.

А ночью пошёл дождь...

А где-то там...

Тонкие пальцы деревьев ослабили хватку. Согрелись немного. Заточили перья почек. Готовы срезать острым язычком. Любого или любя? Со дня на день?

Со дна весны поднимаются соки. Сочатся по сочным губам стволов. Саднят, обветрены. Томятся в тумане. И уж полдень пообтёрся на локтях. Просвечивает бледное тело солнца. Так, неясно. Не ясно, – было оно иль показалось.

Время наматывает свой клубок. День за днём. Нынче – серая нитка. Невзрачная. А где-то там, под слоями... Дети измеряют жизнь новогодними праздниками. Храм Василия Блаженного поднимается над площадью Красной, как из-под

воды.

А где-то тут... – бесстыжи, беззащитны и причудливы лианы дикого винограда. И за лесом, вдалеке... кровоточит закат...

Таинство дня

Проснулась так... от рассвета. Не от него самого, а от его намерения – совершиться. И увидела на стекле златоглазку, которая тщила взлететь Шёпотом. Не желая быть помехой. Но оказавшись ею.

Немое кино затаившего дыхание утра.

Златоглазки растеряли звук порхания нежно-зелёных крыльев. И путают падение с парением в расцветающем рейде рдеющей сейши¹⁷ рассвета. Ищут опору, не могут найти и прилипая к льдинке стекла, дремлют на окне. В половину зеленовато-золотистого ока.

В прошлом осталась сумеречная откровенность птиц.

Прозрачные швы воздушного капюшона, растянуты ветром. Ворон распустит его на ровные полосы лезвием крыл. Но позже. После того, что теперь оттеснило толпу от края дня.

Брыдкое¹⁸ согласие со всем филина утомило всех. В том числе и его самого. И умолк он. На полуслове. Между мет-

¹⁷ стоячая волна в замкнутом пространстве

¹⁸ противный, вонючий, несносный, безобразный

ками междометия.

– У- гу...У...

А рассвета всё нет и нет. Обманом заманив на Голгофу утра, скрыли за драпировкой туч и тумана солнце. И день уже движется, к завершению своему, а нам и невдомёк...

Таинство дня совершается. Без нас.

Едва-едва...

Кровоподтёки предрассветных облаков, татуировка одуванчиков фейерверков по контуру соцветий деревьев, – вот и всё, что осталось от бурной весенней ночи.

Ритмы утра, каждый раз новые. Тревожные и громкие чрезмерно, – вырывались за пределы бесстыдства и вседозволенности темноты. И краснел небосвод, вспоминая, что творил. Румяные заспанные щёки его вызывали умиление. Холодный сквозняк ветрености доносил воспоминания о собственных безумствах. Время отполировало их так, что высокомерие укоризны касалось оных лишь взглядом. Не в пример тому, как это было когда-то. Где-то. С кем-то и с тобою.

Пара дроздов в безукоризненных чёрных сюртуках, не сутулясь, с достоинством сказочных лордов, удерживали губами ярко-оранжевые локоны. Похищенные накануне у Солнца, они были ещё подвижны. Живы. Ясны и светлы. Как на-

мерение нового дня начать всё заново.

И вот уже, рассыпая чётки чётных дней на паркет, суетится дятел. И по горбушке земли растекается мёдом запах травы. Он еле ощутим. Как елей. Как сама жизнь, что теплится в лампаде весны. Едва-едва...

Сострадание

По крыше дома, цокая каблуками, семенит сойка. Раскачивая головой в такт музыке, слышной ей одной, она ходит, ходит... Полуоткрытым ртом перехватывает бессознательный весенний полёт мух и мошек. И продолжает ходить и слушать, слушать и ходить. Смотрит свысока высоты на всё и вся. Что там, внизу, её не касается. Никак.

А на ветке вишни ворон. Громко сопя накрахмаленным носом, поджидает, когда моложавый карась продрогнет на глубине и переберётся на мелководье. Тут же, почёсываясь о пемзу арбузной корки дуба, дразнит округу языком уж. Он тоже – ждёт своего часа. Никто не знает – кому повезёт. И только лягушка, немолодая, но ещё полная сил, не в состоянии пустить ситуацию на самотёк. Подобрал под себя ажурные манжеты, она приготовилась к прыжку. С тумбы берега. Наперекор вездесущему вранью врановых ворона и изворотливости ужа. Их равнодушие и спокойствие оправдано и непостижимо, одновременно.

Сострадание... Нарочитое или случайное. Какое ценится больше?

Намеренное сродни подвигу. Раз, – и герой навечно. Или одолел вершину момента, – и в сторону.

А случайное?

Можно же было ...сделать вид, что не при чём. Что ты чужой. Так ты и вправду чужд тому, что не о тебе. Ан – нет. Задело. Тронуло. Протянул руку. С каменным лицом, но ухватился за вторую ручку. Придержал дверь. Так, не глядя – кому. Но придержал же! Уступил место, сказав грубо, сквозь зубы: «Садитесь.» Грубо! Но усадил. И продолжил читать стоя. С больной спиной, растянутым коленом...

– Ты – добрый!

– Нет. Я злой. Ты просто меня ещё плохо знаешь.

– Ой... там, на улице щеночек маленький. Жалко его... – причитает она. А он молча, с угрюмым лицом кладёт в карман пакет с едой. Для того же самого щенка.

– Ах... там, под дверью, котёнок. Ничей, – опять хнычет она. И морщит нос, – блох-то на нём... – А он берёт и моет. И капает на холку средство против паразитов.

– Откуда?

– Купил.

– У нас же нет денег... Только на дорогу.

– Я с работы домой шёл пешком.

– ...!

На берегу просторной лужи – мужчина. Мимо идут люди. Молодые и пожилые, умные и не очень, трезвые и навеселе. Аккуратно обходят воду, брезгливо морщат губы в сторону лежащего на земле.

– Мужчина. Эй. Вы живы? – только одному из толпы есть дело до того, кому худо. Нащупав пульс, уловив дыхание, помогает подняться и ведёт в сторону остановки. Человек нетрезв и движение собственных ног немного приводят его в чувство:

– Н-не туда! Нет!

– Куда вам?

– Туда! – мужчина кивает в противоположном направлении. И его ведут. И приводят, куда надо.

– Скажи, тебе бывает страшно?

– Да. Иногда у меня так мало сил, что я боюсь, – увижу кого-то, кому нужна помощь, но не смогу её оказать. Или помогу, а сам не дойду...

Да, вот... оно бывает. Такое преднамеренное сострадание. Готовность быть рядом с тем, кому это надо. Любому.

Посреди пруда, распластав тело поверх воды, лежит лягушка, парит. Солнце печёт, парит. Под животом у лягуш-

ки карасик. Он прячется от ужа, который наметил его себе на обед. Лягушка перегрелась давно, ей пора передать своё тепло прохладной воде у дна, но она терпит. Жаль рыбёшку. Мала ещё. Пусть подрастёт.

Апрель

Пара дубоносов, как два крылатых хомячка, ощупывали промёрзшую землю. Они собирали объедки с праздничного стола осени и были рады им.

Мякоть ягод винограда в первую же зябкую ночь, когда увядание стало столь явным и неотвратимым, что подало повод первому дождю листопада, превратилась в ржавую кашичу. Воробьи, дятлы, свиристели и синицы по всю зиму брезговали сим деликатным кушаньем. Сплёвывали его сквозь неплотно сомкнутые губы клюва. Выбирали грушевидный, мелкий, словно речной жемчуг, бисер семян да красиво состаренную тугую кожицу ягод. И от того-то дубоносы оказались в фаворе теперь. Залетев передохнуть, всего лишь на одну ночь, не дольше, разминая натруженные расстояньем мышцы, дубоносы были тронуты деликатной суетой собратьев по перу. То зорянки, одетые в оранжевые, под тон расцвету, манишки, стараясь никого не будить, пировали поутру.

Перейдя с веток прямо к столу, наземь, дубоносы принялись угощаться, вплетая в ткань затянувшейся трапезы

и подоплёку сияния парчи своих нарядов, и основательную добротность столовых приборов.

Лишь цепкие в цыпках ступни, как разрешение вялотекущего спора меж Цельсием и Реомюром, – который из минусов зябче, – было не спрятать. Не прекратить тот спор меж бедностью и довольством. И обледенелыми дождевыми червями гляделись они. У подола одежд снующих воробьёв, зорянок, дубоносов, взявшихся ниоткуда кукушек, дроздов, дятлов и синиц, что вернулись на полпути из глубин леса.

Апрель суров. Будто строгий гувернёр, одёрнув за фалду сюртучка воспитанника, он надменно увещевал:

– Остыньте. Ведите себя прилично, молодой человек. Сдержите свою горячность. Всему – свой час. Скоро лето.

...Но и там, и тогда, – отыщется время и место расположится хОлодности его. Ледяною порой рассветного часа. Туманом дыхания, что обовьёт влажным объятием мир окрест себя. Как напоминание о бесконечном холоде Вечности и конечном жарком биении Жизни. Которой дорожим, дрожа. Забываемся в ней и забываем её, любя и любясь лишь собой...

Лежачий камень

Рыбы опять «соображали на троих». Не принимая в рас-

чѐт ту, четвёртую, к появлению которой, некогда приложили массу стараний, но были, всё же, не готовы считать её равней.

Прошлой весной, едва расправив смятое перинами жабо жабр и кружево плавников, они принялись гоняться друг за другом. Не дав опомниться и понять, кто есть кто. Вода, взъерошенная их желаниями, кипела, обнажая дно и затапливая берега. А после, как рыбы, осыпав икринками, словно конфетти, обширный кустарник водорослей, остепенелись, все потеряли интерес друг к другу. Обосновались в своих пределах. Обратили силу страстей вовне. Вывернули наизнанку и вернулись к размеренности бытия, состоявшего из перманентной зевоты в виду у перемежающихся облаков. Ловле нерасторопных мошек, дерзнувших ступить на палевую поверхность пруда или едва вознамерившихся совершить столь опрометчивый поступок.

Любая, самая осторожная поступь вблизи сходящего на нет подола воды, рождала в рыбах вполне оправданный гастрономический интерес. Любопытство искушённого дегустатора, предвкушающего обонять аромат неизведанного доселе блюда! Рыба вглядывалась близоруко... шевелила полупрозрачными ноздрями, смакуя новый аромат... проглатывала инсект... полоскала рот порцией прудовой воды... И каждый раз разочарованно вздыхала:

– Нет... – ибо это опять было «не то».

Через пару недель, когда сквозь припухшие позолоченные сферы икринок стало проглядывать нечто, с вилами в руках на берег пруда явился Некто. И с усердием, достойным иного применения, извлёк разбухшую паклей растительность из воды. Совместно с заплутавшей в её лабиринте икрой.

В виду лазури неба, под золотистыми струями света водоросль поникла, обмякла прокисшим тестом. А икринки затвердели красиво и безжизненно. На радость легкомысленной трясогузке и пустившим её на лето, во флигель, воробьям.

И лишь одна, самая малая, неказистая и нерасторопная липкая крупинка, что аскетично застряла меж камней на дне, избежала сей незавидной участи. Ей не отыскалось места в зелёном пышном тёплом ватине подводной травы. Но камень, неопрятный с виду и неприятный на ощупь, оказался надёжным. Намного более заботливым, чем про то можно было рассудить.

Он скалил свои слюдяные челюсти навстречу всеядным улиткам, которые покушались пообедать питательным яичком рыбы. Скрипел зубами во след хищным жукам, стремящимся отобрать первый завтрак, заодно с единой жизнью... у малька! – что дрожал в испуге, прижавшись к плюшевому жилету камня, ставшему ему родным. Приготовляя приёмышу к заточению зимы, закалял его. Ободрял и всячески удерживал юношескую горячность. Берёг. От себя самого. От обрыва порывов, без которых и жизнь не жизнь.

Туман сознания, под пеленой загустевшей воды, вблизи камня, что сохранил его, рассеялся лишь весной. Крошечная, едва видимая рыбка обрела формы.

Смущение, присущее юности, окрасило щёки. Матовый воротник и плиссированная юбка выдавали в ней деву, юную и прекрасную. Принужденную слоняться в одиночестве. Без ободрения со стороны ей подобных. В тоске, оправданной отчаянием стенаний, когда хочется метаться туда, куда ведёт незрячий от рыданий взгляд... Казалось бы! Но тут, как озарение, плотная ткань воды раздвинулась, пропуская перед собой одну крупную алую рыбину, другую... – Их было всего-то... три! Надо же. Дал я маху, однако. – Сгребая в кучу прошлогоднюю листву, увядшую и непрожитую жизнь, некто грустил. На его долю не случилось неприглядного на вид камня, поросшего щетиной мха и со звёздочкой лопнувших сосудов лишайника на щеке. Всю жизнь он искал и находил лишь ту ветхую красоту, от избытка которой кружится голова. А должен был жаждать испить той, другой, от недостатка кой щемит сердце.

Полупрозрачная горошина судьбы. В чьей власти удержать тебя подле того, кто окажется верным, не сказавшись? Кто объяснит правду, не исказив мечты? Кто останется рядом и тогда, когда не будет в том нужды?.. Как камень, который лежит в глубине и, любясь отражением, играет соломенными локонами, что роняет солнце, омывая свой лик по-

утру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.